



А. ДМИТРОВСКИЙ

Блок и Пушкин К типологии русской классики

Понятие «литературная классика» терминологически не устоялось, хотя в широком обиходе им пользуются все. В наших справочных изданиях есть номинация «классиков», т.е. лучших писателей, но нет «классики» как таковой. Однако подступы к решению задачи имеются достаточные. Здесь в первую очередь следует назвать работы о русском классическом стиле И.Ю. Подгаецкой, В.В. Кожина, Н.К. Гея, Р.И. Холодковского, В.Д. Сквозникова¹ и концепцию пасхального типа русской культуры В.С. Непомнящего². Итак, вероятно, классикой оказывается тот исторический период литературы, в котором исходные архетипы национального существования обретают наиболее полное и совершенное словесно-художественное выражение, складывающееся в духовно-эстетический генотип, определяющий собою характер и направление последующего литературного развития.

Литературная классика входит в духовную генетику народа, в его эмоционально-нравственный код, и потому в дальнейшем она не просто читается и изучается, но – как бы взывается и узнается читателями в самих себе, прорастая на каждом витке национально-исторического существования духом нового времени и пребывая, таким образом, вечным спутником своего народа. Будучи следствием общенационального пробуждения и подъема субстанциальных сил, что обычно совпадает с глубинными сдвигами в социально-историческом существовании народа, классика становится свидетельством его общенационального самостояния и бессмертия.

Сейчас, в преддверии третьего тысячелетия от Р.Х., когда вслед за 200-летним юбилеем Пушкина мы отмечаем 120-летие Александра Блока, проблема русской классики возникает неизбежно, ибо именно эти два знаковых имени русской литературы образовали «сюжетику» нашей классики от ее золотого века до века серебряного, ознаменовав ее величайшее начало и столь же ответственный кульминационный порог. Примем же хронологические ориентиры интересующего нас периода в датах рожде-

ния Пушкина – 1799 и смерти Блока – 1921, что составляет 122 года русской литературы и что, по утверждению современной антропологии, соответствует естественному жизненному возрасту нормально здорового человека.

В сравнительной типологии Пушкина и Блока поражают символические совпадения некоторых исходных фактов. Блок родился в год открытия в Москве на Тверском бульваре памятника Пушкину и знаменитых пушкинских торжеств 1880 г., обозначивших возможный нормальный рубеж его жизни. И земная жизнь обоих свершилась в одной возрастной поре. И как перстом указующим, Блоку было даровано имя Пушкина – Александр. И место рождения обоих гениев было отмечено знаком национальной субстанциальности – Пушкина в народной столице – Москве, Блока – в государственной столице Петербурге. При этом начало великих реформ в России, наметивших обновление всего национально-государственного организма (1861 год), делит пушкинско-блоковский классический период на две почти равные взаимоотражающиеся части: 62 года и 60 лет.

Двумя сущностными моментами определяется возможность сравнительно-типологического рассмотрения Пушкина и Блока. Оба они поэты национальные в своем всеохватном социально-историческом и нравственно-психологическом содержании, и оба они поэты в абсолютном значении словесно-художественного феномена как такового, в связи с чем определение пафоса поэзии Пушкина, по Белинскому, как поэтичность, художественность и артистизм в неменьшей мере применимо к Блоку.

Прослеживается общность судьбоносных событий русской национальной жизни, определивших характер и направление творчества обоих поэтов. Это Отечественная война 1812 года и общенародный патриотический подъем у Пушкина, а у Блока – две русских революции, 1905 и 1917 годов, и те надежды и ожидания, которые были с ними связаны. Соответствующие мотивы, непосредственно-тематические и рефлексивные, эмоционально-оценочные взаимоотраженно проходят через все творчество обоих поэтов.

У Пушкина, по условиям возраста и времени, эти мотивы выступали в ретроспективном осмыслении от его знаменитых «Воспоминаний в Царском Селе», когда поэту было только 15 лет, а от Бородинской битвы и пожара Москвы отделяло всего два года: «Страшись, о рать иноплеменных! России двинулись сыны», – до итогового воспоминания 1836 года, где –

... племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились

Его полкам готовые снега.

Пушкинская национально-героическая ретроспекция, предметом которой было внешнее вторжение, сменяется у Блока всеохватным трагическим предчувствием внутренней очистительной бури. И вот 19-летний поэт в ролевом образе сказочной птицы Гамаюн и как раз в 100-летие Пушкина сам «вещает иго злых татар, вещает казней ряд кровавых, и трус, и голод, и пожар, злодеев силу, гибель правых», а свою итоговую поэму «Возмездие» он сам определил в 1919 году как «полную революционных предчувствий». И наконец, поэма «Двенадцать» с ее прямым торжеством свершившегося мятежа.

Сейчас в литературном самосознании не особо в чести категория и свойство народности. И напрасно! Ибо представление о возможности индивидуально-личного процветания вне общенационального трудового и спасительного потенциала провоцирует один из самых порочных и губительных мифов нашего времени. И наша классика это обнаруживает со всей силой самоочевидности. У Пушкина и Блока народность соотносительно выступает в тематическом и идейно-эмоциональном обращении к трудовому народу, как к исходному фактору национально-государственного существования. Вспомним возвышенно-вопросительные ораторские интонации Пушкина в его «Деревне» (1819).

Увижу ль, о друзья! Народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя –

и сопоставим их с вопросительной же, самоуглубленной, говорной рефлексией Блока, воследовавшей через 90 лет в цикле «Ямбы»:

Когда же всколосится поле,
Вздохнет униженный народ? –

и выводы относительно глубоко драматического пафоса обеих поэтических трактовок образуются сами собой.

Творчество Пушкина и Блока одинаково вершилось в пределах русской «пасхальной», воскресной культурной парадигмы, но на исторически разных и даже противостоящих друг другу рубежах национального существования. Так, у Пушкина само понятие «народ» выступает, во-первых, в исторически ситуативном осмыслении. Это или героически призывное, и в этом случае перифрастическое, как в упомянутых «Воспоминаниях в Царском Селе», а также в оде «Вольность» восемнадцатилетнего поэта: «Восстаньте, падшие рабы!», – или по-просветительски резко критическая категоричность в стихотворении «Поэт и толпа»: «Молчи, бессмысленный народ, поденщик, раб нужды, забот!». Во-вторых, это философско-историческое осмысление народа в неоднозначности его собственных

судьбоносных действий, что получает памятное выражение в знаменитой заключительной ремарке «Бориса Годунова»: «Народ безмолвствует». И наконец, постижение народа как субстанциальной и решающей категории исторического существования в «Памятнике» (1836).

На этом сопоставительном фоне тем более явственно обозначается возвышенный и трагедийный пафос Блока в «Ямбах» (1909):

Народ – венец земного света,
Краса и радость всем цветам, –

и в цикле «Родина» (1914):

Есть немота – то гул набата
Заставил заградить уста.

И наконец, в поэме «Возмездие» Блок явил осмысление роли культурного героя в национальной истории, где «в каждом дышит дух народа» и где решающие действия героя неизменно «в руке народной».

В.С. Непомнящий убедительно обосновал непосредственную явленность у Пушкина гармонического духовного идеала, где даже самые тяжелые и неизбежные жизненные коллизии становятся как бы этапами обретения новой и высшей гармонии. Это уникальное свойство пушкинского мировосприятия и самоутверждения наглядно сказывается в сюжетике стихотворений «Зимнее утро», «Я помню чудное мгновение», «Желание славы», «Туча». Иное в стихах Блока, типизирующих жизненную катастрофу, нравственную безысходность, тоску, скуку и предельный рубеж – смерть. Вот эти крайние позиции личного человеческого апокалипсиса: «Я сам, позорный и продажный», «Неизвестность, гибель впереди», «И гибну, принц, в родном краю», «Крещеньем третьим будет смерть», «Смертный венчик вокруг чела». И в обобщенно-собирательном личном местоимении множественного числа:

Затопили нас волны времен,
И была наша участь – мгновенна.

Но это та гибельность, которая, как в народных сказках, несет в себе сакральные начала преображения и торжества. И поэт предчувствует и осознает это сам, сопрягая в вопросительных и утверждающих интонациях эти две полярные категории человеческого существования: «Иная жизнь? Глухая смерть?», «Жизнь и смерть в круженье вечном». И уже выход к прямому призыву действия:

Чтоб молнией живой расколот
Был мрак, где не видать ни зги!

Но обнаруживается, что эта блоковская парадигма гибельности как условия бессмертия была впервые в русской классике открыта Пушкиным, так что слова Вальсингама в «Пире во время чумы», как раз за полвека до рождения Блока, воспринимаются теперь как его прямая предтеча:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!

Припомнив в этой же связи строку Блока «Как легко и ясно умирать», мы тем глубже осознаем мысль пушкинского Председателя, что «Счастливы тот, кто среди волненья их (т.е. гибельные чувства. – *А.Д.*) обретать и ведать мог».

В экзистенциальных категориях человеческого существования выступает у обоих поэтов противопоставление «покоя и воли» как свойств абсолютного значения, с одной стороны, и «счастья» как свойства переходящего и относительного – с другой. В элегии 1834 года Пушкин писал: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Но еще ранее в письме Онегина к Татьяне он вскрыл глубинный драматизм этой альтернативы, когда воля-свобода без счастья теряет сущностное значение, неизбежно становясь «постылой». Блок также предпринял снятие этой альтернативы, но не в обретении ее высшей диалектики, а в прямом поэтическом отрицании ее составляющих:

Все на свете, все на свете знают:
Счастья нет.

«Покоя сердце просит»,– писал Пушкин в той же элегии, полагая главным его условием состояние «трудов и чистых нег». Но в «Ямбах» Блока однозначен трагический ответ: «Уюта нет, покоя нет».

Экзистенциальная полярность Блока и Пушкина наиболее наглядно сказывается в типизации любовного чувства, возвышающегося у Пушкина до абсолюта человеческого существования, где единовременны и нераздельны –

И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь,–

а у Блока оно либо уходит в конечное ничто –

Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола, –

либо разрешается в абсолюте трагедийного самосознания, где –

Долгих лет несмолкаемой ночи
Страшной памятью сердце полно.

И наконец, предельное противостояние жизненных концептов в словах Пушкина «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» и Блока «День, как день; ведь решена задача: Все умрут» (выделено Блоком. – *А.Д.*).

В поэтических самооценках Пушкина и Блока происходит снятие полярного противопоставления возвышенно всеобщего самоутверждения и апокалипсической гибельности. Пушкин определял свое поэтическое бессмертие в двух главных категориях нравственного и общественного содержания – добра и свободы: «чувства добрые я лирой пробуждал» и «в свой жестокий век восславил я свободу». И в высшей степени знаменательно, что в этих же категориях добра и свободы утвердил Блок свой поэтический «памятник» во вступительном стихотворении к «Ямбам»:

Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!

И вся эта заключительная строфа выделена курсивом.

И наконец, в произведениях высшего пророческого философско-исторического синтеза: «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Медный всадник» Пушкина и «Возмездие», «Двенадцать», «Скифы» Блока – присутствуют общие для обоих поэтов вечные проблемы судьбы человеческой и судьбы национальной, проблемы личности и власти, рационалистической государственной политики и стихийного общенародного исторического творчества, причем в одинаково порочных крайностях корпоративного отчуждения в первом случае и «бунта бессмысленного и беспощадного» – в другом. Для Пушкина этот «бунт» был предметом размышления на материале пугачевщины, то есть полувекового исторического прошлого, для Блока в «Возмездии» – на материале непосредственных наблюдений и предчувствий, где «черная земная кровь» сулила, «все разрушая рубежи», «неслыханные перемены», «невиданные мятежи», и затем прямо сказала в открытой вольнице «Двенадцати». И символический ночной бурян в оренбургской степи потом отзовется петроградской ночной вьюгой и пургой в поэме Блока.

Пушкин постулировал в «Медном всаднике» национально-государственную идею:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.

И Блок подтверждал идею петровского государственного наследия:

И сам Державный Основатель
Стоит на головном фрегате.

И еще раньше, в 1904 г.: «Он (Петр. – А.Д.) будет город свой беречь».
Провидчески тревожный вопрос в «Медном всаднике» –
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта? –

отзывается в «Возмездии» вопросом прямой трагической тональности:

Какие сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?

И наверняка не случайно в характеристике «державного основателя» и «державца полумира» эпитет в краткой форме прилагательного – и в крайней степени эмоциональной напряженности и смешения положительных и отрицательных оценок – оказывается у Блока и Пушкина общим: «Ужасен он в окрестной мгле» и «Ужасен выкаченный взгляд».

Символично, что в своем последнем законченном стихотворении 1921 г., помеченном роковой датой 29 января и ставшем его поэтическим завещанием, Блок обратился именно к Пушкину, осмыслив его спасительную роль для современников и живую преемственную связь с ним в жизненно ключевом концепте свободы и духовно-созидательной устремленности в «грядущие века». Пользуясь реминисценцией из стихотворения Пушкина «К Н.Я. Плюсковой», Блок писал:

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

И мы сейчас, в начале XXI века, в 120-ю годовщину Александра Блока, с тайной надеждой спасения и торжества повторяем, как свои собственные, эти слова.

¹ См.: *Теория литературных стилей*: Типология стилового развития нового времени. М., 1976.

² См.: *Непомятый В.С.* Феномен Пушкина и исторический жребий России: К проблеме целостной концепции русской культуры // Пушкин и современная культура. М., 1996.

